

говора с нею, что она отменно не глупа, подарил я ей на расторжку пятирублевую бумажку. Девка очень обрадовалась. Пять рублей калашнице капитал.

На другой день поутру сказывают мне, что пришел мужик, имеющий нужду говорить со мною. Я его к себе позвал. Мужик в слезах мне в ноги: «Помилуй батюшка, спаси дочь мою; ты погубил ее — она хочет удавиться или в Вятку (реку) броситься. Вчера ты ей пожаловал пять рублей, так все девки товарки ее целый день ей житья не давали: „Ты была у сенатора, да и только, за что ж бы ему пожаловать тебе пять рублей?“. Дочь моя воеет, в удавку лезет, не можем уговорить ее, мать от нее не отходит».

Смешно, правда, было подозрение меня в таком молодечестве, однако тревога мужика с его семейством была для меня еще чувствительнее. «Неужель ты этому веришь? — говорил я ему. — Да если б дочь твоя была у меня, так я бы ей пять рублей или больше дал у себя, а не в балаганах при всех! — Родимый, — говорит мне мужик, — да кто этому поверит! Мы знаем, что неправда, — да проклятые-то завистницы ее с ума сводят, а она девчонка молодая, глупая; помилуй батюшка!» — кричит мой мужик, валяясь в ногах.

Даю ему деньги — не берет. Давал ему уж столько, что по состоянию его дочери могло бы составить изрядную часть ей приданого: мужик все не берет, а только кричит: «Помилуй, спаси дочь мою; не быть ей живой: она удавится, не век сидеть над ней; а хоть и сидеть, то все она сойдет с ума от печали».

«Что ж мне делать? — я говорю ему, — не жениться же на ней. Я подарил ей от доброй души — а уж это несчастье, что с нею случилось. Дай мне подумать, авось как-нибудь поправим: приходи ко мне завтра». И на силу уговорил я его отойти от меня до завтра.

Между тем, видя такое беспритворное огорчение и находя себя, хотя и невинного, однако причиною тому, был я очень неравнодушен. Думал и не знал, чем поправить. Денег не пожалел бы я, и много, да целомудренной калашнице с отцом ее ничего было не надобно. Вдруг пришла мне мысль, которой исполнение все дело исправило.

Послал я в казенную палату несколько сот рублей разменять на пятирублевые ассигнации и, пошед разгуливаться, всякой девке-торговке подарил по пятирублевой бумажке на расторжку же. Отец отчаянной калашницы пришел ко мне на другой день не с тем уже, чтоб толковать о том, как уладить наши хлопоты, а благодарить меня, что успокоил я дочь его. «Бог тебя надоумил, родимый, — говорил он мне, однако со слезами радости. — Теперь уж ее не дразнят; все девки веселы и с нею ватажатся; и никто уж на нее не думает, а всяк говорит, что ты это жалуешь только из милости».

Признаться, что и мне весело стало. Хотел я, однако, отдать мужику то, что прежде давал ему на приданое дочери его, такой честной девушке, но он никак не соглашался принять, кланяясь и говоря очень искренним голосом: «Помилуй, батюшка, уволь: ведь охять то же баить (говорить) станут».²¹

Эпизоды из «Путешествия из Петербурга в Москву» и «Записок» Лопухина красноречиво дополняют друг друга, показывая, как сложно переплетаются книжно-теоретические конструкции и реально-бытовые наблюдения и какую осторожность должен проявлять историк, пытаясь отделить первые от вторых.

Мы не умножаем дальнейших примеров, поскольку для того, чтобы исчерпать перечень непрокомментированных мест «Путе-

²¹ Записки из некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника и сенатора И. В. Лопухина, составленные им самим, с предисловием Искандера. Лондон, 1860, с. 98—100